

о чем-нибудь, кроме романтических до пошлости прогулок при свете луны? Нет! она только бранит его за то, что он принес в приемную комнату свои «сальные бумаги» (вероятно, для того, чтобы посидеть вместе с нею); у мужа на рукаве оторвалась пуговица, он просит жену пришить ее — Габриэль отвечает, что завтра позовет швею. Прачка приносит белье — Габриэль отправляет ее к ключнице: ей низко самой заниматься хозяйством; муж просит ее позаботиться о любимых кушаньях для дяди, которого ждет он в гости, — Габриэль отвечает:

«В такие мелочи мешаться вам не след»

и продолжает мечтать, как хорошо было бы, если бы они с мужем продолжали (через десять или восемь лет после свадьбы) перекидываться томными взглядами à la Манилов и прогуливаться при свете вечерней зари, как влюбленные, не выдавшие целую неделю:

«Я на руке его повисла б нежно, он  
Замедлил бы шаги вслед за моею ленью,  
Мы предавались бы восторгам, упоенью,  
Наш восхищенный взор блуждал бы в синеве  
Небес...»

Вспомните, что у Габриэли уже дочь семи или девяти лет, и вы невольно скажете: какая пустая и пошлая женщина эта Габриэль!

И отчего все это произошло у Ожье? Ему надобно было изобразить тоску жены, покидаемой, забываемой мужем.

С таким же искусством обрисовано у него всё. Но, повторяем, большая часть пьес современного французского репертуара еще гораздо ничтожнее «Габриэли»; потому неудивительно, если она производила на сцене эффект, когда талантливые актеры поддерживали ее своею игрою.

Перевод г. Крешева довольно хорош, хотя и можно указать множество мест, на которых спотыкаешься при чтении.

#### ⟨ИЗ № 4 „СОВРЕМЕННОКА“⟩

**Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Книги второй половины вторая. Москва. 1854<sup>1</sup>.**

Карамзин думал, что история России до Иоанна III представляет очень мало интересного и мыслителю, и простому читателю, что поэтому едва ли не было бы лучше для историка решиться представить ее в сжатом очерке, не вдаваясь в подробности, бесцветные и утомительные, ограничиваясь только общими картинами событий и нравов. История России начинается только с Иоанна III, думал он; и если бы не чрезвычайная забота его об

основательности и полноте, он хотел бы все предшествующие времена описать в одном томе, начиная подробный рассказ только с эпохи внутреннего устройства Московского государства в своеобразную форму. Теперь очень многие ученые наши, а вслед за ними почти все и неученые, находят мнение Карамзина странным, поверхностным; теперь думают, что древнейший период русской истории имеет необыкновенную важность и даже очень много занимательности. Большая часть наших молодых ученых, занимающихся русской историей, посвятили себя разработке времен принятия и до принятия христианства. В пример представим хотя оглавление вновь вышедшего тома «Архива историко-юридических сведений». Первое место по важности и объему занимает в нем исследование «О Русских пословицах и поговорках» г. Буслаева (176 страниц, около третьей части всего тома); за ним следуют «примечания и дополнения» г. Снегирева; потом — «Мифическая связь понятий: света, зрения, огня, металла, оружия и желчи» г. Афанасьева (А. Н.); «Новые свидетельства об изгойстве» г. Буслаева; несколько заговоров, доставленных гг. Григоровичем, Буслаевым и Калачовым; «Новые свидетельства о роде и роженицах» г. Забелина. Все эти статьи имеют целью объяснение древнейших нравов и понятий русских славян, до принятия ими христианства. И как малочисленны в сравнении с ними статьи, относящиеся к позднейшим временам старой русской истории, — их всего только две: «Пирры и братчины» г. Попова (А. Н.), «Извлечения из книги Златоуст» г. Забелина; да и те кратки, да и в тех есть эпизоды, относящиеся к древнейшему быту. Затем представителем старины, а не доисторической древности, остается перевод сочинения Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян», сделанный г. Шестаковым.

Кто же прав: Карамзин, считавший XV—XVII века более важными для русской истории, нежели предыдущие столетия (или тысячелетия, потому что современные исследователи русской истории занимаются разысканиями и о временах, предшествовавших поселению славян в нынешних местах жительства), или мы, с предпочтительным вниманием занимающиеся бытом отдаленнейшей древности? Без всякого сомнения, мы, потому что

wir, wir leben  
Und der lebende hat Recht<sup>2</sup>

как давно уже сказал Шиллер. Но если мы находим теперь, что Карамзин судил не совершенно основательно, отнимая почти всякое значение для русской истории у времен Аскольда и Дира, Игоря Святославича Северского и Буй-Тура-Всеволода, воспетых в Слове о Полку Игореве, то кто нам поручится, что следующее поколение не назовет и современного нашего пристрастия к дс-рюриковской древности увлечением, не свободным от односторонности?

У нас есть средство предугадать, что скажут об этом лет через десять или пятнадцать; чтоб отгадать будущий приговор, нужно только обсудить побуждения и обстоятельства, под влиянием которых образовалось увлечение разысканиями об отдаленнейшей древности, взглянуть на результаты, которых надеемся мы достичь и отчасти уже достигли этими разысканиями, и посмотреть, какую живую связь имеет патриархальный быт наших предков, русских славян, с нашим современным бытом. Не имея ни возможности, ни желанья на нескольких страничках нашей статьи исследовать эти вопросы во всей их подробности, мы, однакоже, считаем их в сущности столь немногосложными, что полагаем очень возможным изложить их здесь в довольно ясном очерке.

Всякий, кто читал исследования наших молодых ученых о древнейших временах славянской истории, конечно, заметил, что они опираются на исследования Гримма о древне-немецком быте. Все основные понятия, от которых исходят наши исследователи, принадлежат Гримму; большая часть сличений, аналогий между понятиями и учреждениями славян и других народов заимствована из Гримма; добросовестные наши ученые вовсе не думают скрывать этого: их сочинения усеяны ссылками на Гримма; наконец, весь метод исследования у них — заимствован у Гримма; и сами они называют себя учениками Гримма. Было бы очень смешно упрекать их за это; напротив, быть последователем Гримма, если занимаешься разысканиями о доисторических древностях славянских племен, так же необходимо, как быть последователем Лепсиуса и Шампольёна, когда занимаешься египетской историей, Нибура, когда пишешь о древнейших временах классического мира, учеником Кювье, когда занимаешься исследованиями об остатках допотопных животных. Быть учеником Гримма не упрек, а честь, потому что не быть учеником его, значит ошибаться. Хорошо, что древнейшая славянская история исследуется по методу и на основании разысканий Гримма о немецких древностях. Но мы хотим сказать несколько слов о значении трудов Гримма для всеобщей истории и о том, какое место после них остается для исследований о славянском патриархальном быте.

Стремления, на которых основано направление ученой деятельности Гримма, тесно связаны с положением Германии в начале нынешнего столетия. Владычество французов в западной Германии и уничтожение Пруссии возродило в немцах нелюбовь ко всему, что более или менее носило отпечаток французских нововведений, пробудило симпатию к старым славным временам немецкой империи, когда Оттоны были могущественнейшими государями Западной Европы, когда французские короли были перед ними незначительными князьями, возродило воспоминание о временах Арминия, сокрушившего завоевателей, пришедших из Галлии, о временах, когда сыны Германии покорили Галлию и

Италию и германская народность торжествовала над юго-западными своими соперницами. Теперь прошли эти обстоятельства, заставлявшие немцев, с грустью отворачиваясь от настоящего, искать утешения и надежд в прошедшем. Но, порожденное положением дел, стремление в глубину протекших веков принесло свои плоды для науки: исследователи старого немецкого быта, и во главе их Гримм, восстановили картину древнейшего немецкого образа понятий о мире и судьбе человека (*Deutsche Mythologie* von J. Grimm), древнейшего немецкого общественного устройства (*Deutsche Rechtsalterthümer* von J. Grimm) и объяснили узы братства, соединяющие нынешних разрозненных и слабых виртембергцев, гессенцев, саксонцев с могущественными готами, франками, англосаксами, скандинавами (*Deutsche Grammatik* von J. Grimm); немецкое племя, разделяющее западную половину Европы с романским, постигло свое единство, скрывавшееся во мраке древнейших судеб его, получило ясное понятие о том, чем было оно прежде, нежели разделилось на ветви. Но этим не исчерпывается важность трудов Гримма для истории. Научные стремления могут возникать из частных, временных побуждений; но если они находят истолкователями себе истинных ученых, каков Гримм, они возносятся, неведомо сами себе, выше своих односторонних начал и получают значение общечеловеческое, потому что истинный ученый ищет знания истины, а истина нечто общечеловеческое. Так и Гримм, начав с точки зрения специально немецкой, в результатах своих трудов нашел нечто общее, и вместе с картинами древнегерманских понятий и учреждений начертал картину понятий и учреждений всей европейской отрасли индоевропейского племени в известную эпоху. Он воскресил перед нами общий быт кельтов, латинян, греков, немцев, литовцев и славян во время перехода их из Азии в Европу в ту пору развития, когда они из бродячих пастухов и звероловов делались оседлыми земледельцами (прежние его сочинения и *Geschichte der deutschen Sprache*). И, может быть, наперекор первоначальным ожиданиям и желаниям исследователей немецкой древности, оказалось, что в этом состоянии немцы очень мало отличались от всех своих соплеменников и даже чуждых им народов, теперь находящихся на той же ступени развития; открылось, что основные поверья и учреждения были почти одинаковы у всех европейцев санскритского корня и в особенности удивительно близки между собой по понятиям и образу жизни были народы, от младенчества которых сохранились до нас полнейшие воспоминания — славяне, литовцы и немцы. Немецкие исследователи искали прав на отличие и гордость, нашли — необходимость признать единство и назвать соседей своими братьями.

Одним словом, как Нибур, исследуя римские учреждения и смысл борьбы плебеев с патрициями, раскрыл перед нами историю образования всех древних и большей части новейших госу-

дарств и разъяснил существенное содержание не только римской, но также и афинской, французской, английской истории; так, исследуя древний быт немцев, Grimm начертил нам картину понятий, нравов и учреждений всех соплеменных им народов при переходе из дикого и полудикого состояния к началам дальнейшего развития, соединенного с оседлою жизнью земледельца и, для немцев и славян, с принятием христианской веры. Сопоставляя имена этих великих ученых, мы только хотим объяснить общность значения гриммовых открытий; но мы не думаем ни сравнивать Гримма с Нибуром по гениальности, ни говорить, что открытия Гримма имеют такую же огромную важность, как нибуровы. Все близкое представляется слишком громадным; потому для некоторых может показаться несправедливым наше мнение об относительной важности открытий Гримма и Нибура: объяснимся же точнее.

Результаты исследований Нибура обнимают почти весь период развития внутренней жизни римского государства и объясняют для нас сущность исторических событий в Англии и Франции, которых конец еще скрывается далеко в будущем. Что были в Риме патриции и плебен, тем являются во Франции члены феодального общества и горожане. Восторжествовав над патрициями, плебен соединился с ними для сопротивления требованиям жителей остальной Италии и провинций; точно так же во Франции теперь мы видим соединение потомков феодальных землевладельцев с буржуазией для общего сопротивления остальной массе народа. Ход событий в Риме объясняет все эти события; окончание споров между римлянами и другими итальянцами показывает нам, какого исхода мы должны ожидать и в современных нам французских событиях. Точно так же взгляд Нибура на римскую историю служит ключом и к пониманию английской истории. Мы не говорим, чтоб именно только после Нибура стала понятна история новой Европы; но то несомненно, что нибуровы открытия имеют самую живую связь с новейшею европейскою историей и для многих делают яснее текущие вопросы внутреннего развития государств, занимающих очень важное место в истории человечества. Напротив того, почти никакой связи с настоящим не имеют открытия, сделанные Гриммом. Они только объясняют некоторые обычаи, потерявшие серьезное значение в народной жизни, нашедшие на степеню простой забавы или пустой привычки, например, зажигание огней и скакание через них, игры детей и молодых людей, свадебные обряды, имеющие просто значение церемоний, и т. д. Все это перестало иметь смысл и важность в действительной жизни и кажется драгоценным для науки только как остаток древности. Одним словом, для филологических исследователей, в главе которых стоит Гримм, старина важна потому, что она старина. А наука должна быть служительницею человека. Чем более может она иметь влияния на жизнь, тем она важнее. Не-

приложимая к жизни наука достойна занимать собою только схоластиков.

Но, конечно, в наше время смешно было бы понимать жизнь только как материальную жизнь. Быть может, слишком уже много толкуют современные книги о том, что кроме материальных потребностей есть у человека высшие стремления, которые так же необходимо требуют себе удовлетворения, как и материальные потребности; быть может, прежде, нежели думать о поэзии и тому подобных стремлениях, надобно думать об удовлетворении житейским потребностям; быть может, за благосостоянием сама собою приходит поэзия, как это показывает пример североамериканцев; но уместно или неуместно толкуется в книгах о высших стремлениях человека, во всяком случае, толкуется о них так много, что нет возможности забыть их, говоря о потребностях человека. И потому никто в наше время не станет спорить, что любознательность вообще так же должна быть удовлетворяема, как и стремление узнать что-нибудь полезное для жизни. Посмотрим же, до какой степени удовлетворяет любознательности человека новая наука, столь гордящаяся быстрыми своими успехами со времен Гримма.

Она — будем называть ее историческою филологиею, потому что в основании всех ее соображений лежат филологические данные — успела уже по отрывочным известиям у древних писателей, по отрывкам древних песен и сказок, сохранившимся в нынешних песнях и сказках народа, по соображению первобытного значения корней и переносного значения слов, составить довольно полную и отчасти даже одушевленную картину древнейшего быта немцев, славян и т. д. в ту эпоху, когда они были еще кочевыми пастухами и звероловами, картину их общественных отношений, семейного быта, поверий и понятий; потом она довольно хорошо рассказывает об изменениях, происшедших в народном устройстве и быте вследствие обращения народа к земледельческому, оседлому образу жизни; так историческая филология приводит нас к тому времени, от которого уже остались письменные исторические памятники. Здесь история почти совершенно отказывается от ее помощи, получая возможность пользоваться более точными и богатыми материалами, нежели филологические соображения.

«История отказывается от помощи филологии, как скоро достигает собственно так называемых исторических времен», сказали мы. Да, отказывается; потому что посредством того же самого метода, из тех же самых источников можно было бы извлечь — будем приводить русские примеры — более обильные материалы для истории XVI века, нежели для эпохи, предшествовавшей Рюрику и Владимиру. О походе Владимира на Херсон о призвании Рюрика не осталось песен; а о походе Грозного на Казань, о других событиях его царствования осталось довольно



много песен. Итак, филология не отказалась бы служить истории для последующих веков. Но история отказывается пользоваться ее пособием: кому придет в голову описывать взятие Казани по народным песням, когда есть более достоверные или (чтоб не наводить сомнения на достоверность песен), по крайней мере, более точные и подробные описания этого события? Переставая быть нужною для истории, филология теряет всю свою важность. Посмотрим же, что нового успела сказать истории филология, обязанная всем своим значением тому, что служит ей вспомогательною наукою для тех периодов, для которых история не находит других памятников, кроме уцелевших в языке и преданиях народа.

Изыскания Гримма и его последователей пролили очень яркий свет на состояние немецких племен в эпоху до рождества христового, когда они переселялись в Европу и основывались между Рейном и Вислою, между Дунаем и морями Немецким, Балтийским и Ледовитым. Это очень важно. Однакоже, что такое в сущности узнали мы от Гримма? То, что немцы жили тогда почти совершенно так же, как и все кочующие народы, имели все отличительные черты их характера, все их семейные и общественные обычаи. Особенного почти ничего у них не было. Кто читал у Геродота и Лукиана описания скифских нравов, тот, и не читав гриммовой «Истории немецкого языка», знает все, что там говорится о немцах. Сходство между нравами скифов и гриммовых германцев так велико, что Гримм не колеблется дополнять картину обычаев своих предков описаниями скифских обычаев, прибавляя: «все это должно было точно так же быть и у нас, когда мы были кочевыми звероловами-пастухами». Иначе и быть не могло; потому что разнообразие, личность, вносится в жизнь народа, как и в жизнь отдельного человека, только цивилизацией. Дикари и полудики совершенно одинаковы повсюду и всегда. Все племена, стоящие на той же степени развития, как североамериканские краснокожие, совершенно похожи на них; все племена, стоящие на степени развития бедуинов, как две капли воды похожи на бедуинов. Итак, заслуга Гримма состояла в том, что он разрушил, вовсе не преднамеренно, разные самообольщения, в которые вдавались прежние немецкие историки, изображавшие старых немцев в таком же идиллическом виде, как изображал Бугенвиль отаитян. Гриммовы исследования доказали: о старых немцах надобно повторять то же, что говорится о всех дикарях и полудиках. Вот его существенная заслуга истории. Он сделал это не преднамеренно; напротив, ему хотелось бы выставить своих предков в самом лестном свете, и его сочинения полны патетических фраз в этом духе. Но факты сильнее фраз, и к чести Гримма надобно сказать, что беспристрастия у него еще гораздо больше, нежели увлечения. Ясно теперь, каково значение гриммовых трудов. Они подвели подробные доказательства к тем положениям.

которые уже несколько десятков лет были ясны для всех образованных людей; германцы, как и все народы, прежде, нежели стали земледельцами, были кочевыми звероловами и пастухами; звероловы и пастухи грубее, нежели земледельцы; дикари суть дикари.

Есть еще другая сторона в трудах Гримма. Он доказал, что в существенных чертах языческие верования всех немецких племен были те же самые, какие сохранились в скандинавских Эддах. Он показал, что языческие верования славян и литовцев в существенных чертах совершенно сходились с немецкими. Те и другие, подобно другим дикарям, сначала были фетишисты; потом стали поклоняться преимущественно огню, воде, скалам, лесам. При дальнейшем переходе от грубого дикарства к более человеческим понятиям они стали поклоняться солнцу, луне, звездам, молнии; наконец, боги светил и стихий стали принимать более и более антропоморфический характер, и развились рассказы об их подвигах и приключениях. И это все было задолго до Гримма высказано мыслителями. За Гриммом опять остается только заслуга, что общие соображения подтвердил он фактами немецкой мифологии.

Эти заслуги очень велики; но все новое, сначала отвергаемое и презираемое, бывает потом превозносимо выше меры, пока не перестанет быть новостью, пока вместе с ослепленными противниками не потеряет и слишком восторженных провозглашателей. Так и важность гриммовых исследований слишком преувеличивается, особенно нашими учеными, представляющими первое и еще молодое поколение, знакомое с Гриммом. Потому нам казалось не излишним привести значение исторической филологии к ее истинному знаменателю. Слишком восторженные похвалы возбуждают недоверчивость и вызывают столь же неумеренное противоречие; потому нам кажется, что польза самой исторической филологии, значение которой для истории мы признаем очень важным и которую за это мы высоко уважаем, требует, чтобы о заслугах ее говорили хладнокровно и без преувеличений.

Ясно теперь, какое научное значение должны иметь труды русских ученых, занимающихся историческою филологиюю. Гримм сделал очень много для русских древностей, показав, что общие черты языческих верований были общи славянам с немцами; но само собой разумеется, что, обращая главное внимание на немецкие древности, он не входил в подробности относительно славян. Русские ученые уже успели сделать во многих подробностях общий эскиз славянской мифологии, начерченный Гриммом. До сих пор их труды были обращены преимущественно на эту сторону древней жизни, которая не без основания считается важнейшею. Как видят читатели, мы не увлекаемся беспредельным восторгом, который внушает очень многим историческая филология вообще и приложение ее к изучению наших древностей в особен-



ности. Мы не выставляем, как это часто делается, филологию важнейшею из всех наук, не ожидаем от нее преобразования всей системы наук, ограничиваем ее назначение скромной ролью вспомогательной науки для истории первых ступеней развития европейской половины народов индо-европейского корня. Точно так же мы не стараемся преувеличивать и важности русских трудов по части исторической филологии, полагая, — как это и оправдалось до сих пор фактами, — что их значение должно состоять отчасти в подробном развитии общих очерков, данных Гриммом для славянской мифологии, отчасти в том, чтобы по его методу выработать для древнейшего периода истории славянских племен положения, очень близкие к тем, до которых дошел он относительно юридической стороны древнейшего немецкого быта. Но в этих границах мы признаем всю важность трудов наших ученых; мы проникнуты глубоким уважением к проницательности многих из них и к прекрасной преданности предмету своих занятий, которою одушевлены все они. Предмет их исследований, во всяком случае, несравненно важнее, нежели споры о происхождении варягов, десятки лет занимавшие наших историков, и мы видим огромный шаг вперед в переходе от этих толков об именах к исследованию быта. С такими чувствами приступаем к обзору замечательнейших статей историко-филологического содержания в недавно вышедшем томе прекрасного издания г. Калачова.

Важнейший по объему труд в этой книге, как мы сказали, «Русские пословицы и поговорки» г. Буслаева. Имея под руками довольно большое количество сборников пословиц, почтенный ученый вздумал воспользоваться ими для дополнения книги г. Снегирева «Русские народные пословицы и притчи» и напечатал теперь в «Архиве» собрание пословиц, занимающее около девяноста страниц сжатой печати в два столбца. Труд прекрасный и полезный; можно было бы не одобрить только того, что г. Буслаев вступает в мелочную полемику против своего предшественника, подробно исчисляя все неточности, какие мог отыскать в его тексте. Что собрание, столь обширное, как сборник г. Снегирева, по необходимости должно заключать в себе несколько ошибок, само собою разумеется; и неужели мы должны с некоторым самодовольством выставлять на вид, что нам удалось исправить пять или шесть из них, прибавляя: «вот как я исправляю текст: посмотрите, как мой текст хорош и как дурен текст моего предшественника! Мой предшественник не умел пользоваться материалами», и т. д. — все это читатель найдет на 64 и следующих страницах статьи г. Буслаева. Не знаем, должно ли наше последнее замечание относиться и к г. Буслаеву, но оно относится к довольно многим из молодых исследователей нашей старины. Гордые своим знакомством с Гриммом, гордые аппаратом «высших филологических соображений», тем, что они стоят наравне с современным положением филологии, они слишком много при-

дают цены тем ученым тонкостям, которыми превосходят предшествовавших им собирателей, не получивших специально-филологического образования, но трудившихся с такою любовью, с таким неутомимым усердием, какое редко можно найти и в специальных ученых; многие ныне из-за мелочных недостатков забывают о достоинствах изданий гг. Сахарова и Снегирева, которые оказали гораздо более услуг изучению русской народности, нежели люди, так свысока трактующие о них. Мы рады успехам, которые делает наука, и не сомневаемся, что эти успехи очень велики; но с тем вместе мы думаем, что ученый, действительно далеко ушедший вперед, не должен слишком выставлять вперед мелочных улучшений, которые удалось ему сделать в предшествующих трудах: знающий дело читатель (а для такой публики, если не ошибаемся, издается «Архив») не нуждается в полемических указаниях, чтобы заметить улучшения. Будем снисходительны к мелочным извинительным в людях, не претендующих на знание Вед и Ульфины, ошибкам; только тогда мы можем требовать, чтобы наши, может быть, более крупные ошибки были нам извинены. Возвратимся, однакоже, к труду г. Буслаева.

«При собирании пословиц и поговорок, — говорит он, — естественным образом могло накопиться у нас несколько лингвистических замечаний. Сии последние, приведя в некоторую систему, предлагаем благосклонному вниманию читателя, как предисловие к нашему небольшому собранию».

Эти замечания составили статью в более нежели 70 страниц большого формата, и нет надобности прибавлять, что в числе их найдется очень много остроумных и основательных соображений и объяснений: имя автора достаточно ручается за это. Он, верный своему историко-филологическому направлению, старается отыскивать в собранных им пословицах свидетельства о древнейшем быте русских славян. Здесь, конечно, было бы неуместно пускаться в критику подробностей, потому ограничимся общими замечаниями о характере статьи г. Буслаева. Кроме постоянных сближений фактов, им находимых, с материалами и выводами, находящимися у Гримма, — это черта, общая г. Буслаеву со всеми достойными нашими и заграничными филологами, — он и здесь, как везде, старается возводить факты быта, поверья народа и слова языка к санскритскому первообразу. Гримм гораздо реже вдается в эти отдаленные сравнения, находя, что язык и древности немцев и славян гораздо ближе и точнее объясняются одни другими и сравнением их с фактами быта и языком их европейских братьев — кельтов, римлян, греков и литовцев. Примеру Гримма следуют в этом случае большая часть и наших филологов, осторожных в сравнении языческих поверий славян с индейскою мифологией, развивавшейся столь своеобразно. Здесь не место разбирать, кто прав вообще; быть может, г. Буслаев находит, что осторожность других филологов происходит от недостаточного

знакомства с санскритом; быть может, они возразят, что не для чего искать сомнительного сходства в Индии, когда достаточно объясняется дело европейскими фактами, находящимися в теснейшем родстве между собою. Но в настоящем случае, кажется нам, санскритские сравнения завлекли г. Буслаева слишком далеко. В наших пословицах он хочет видеть остатки древнейшей санскритской мантры (величання богов) и брахманы (обрядовых молитв). Аналогия так отдаленна, что сам г. Буслаев сознается: «языческий обряд (брахмана) сохранился в пословице темным намеком» — что кажется не более, как темным намеком самому автору, в том большая часть других исследователей не увидит и никакого намека; следов мантры, величання, сохранилось в пословицах наших, по словам самого г. Буслаева, еще менее. И мы не знаем, принесла ли какую-нибудь пользу эта отдаленная родословная, приисканная ученым автором; нам кажется, что она только набросила фальшивый свет на наши пословицы, придав им какой-то мифологический характер, который совершенно им чужд; правда, в некоторых пословицах сохранились намеки на языческие поверья славян (славян, а не индейцев); но это произошло не потому, чтобы пословица стояла когда-нибудь в связи с мантрою и брахманою, не потому, чтобы она была по своей сущности частью мифологического сказания, обряда или величания, а просто потому, что, обыкновенно выражая свои правила житейской мудрости аллегориями и сравнениями, она, без всякого преднамеренного предпочтения, заимствовала их иногда из области поверий, как в других случаях (и гораздо чаще) брала их из круга замечаний о погоде, разных качествах вещей, характерах животных и т. д. Мы хотели еще поговорить о чрезмерном, по нашему мнению, объеме, который придает г. Буслаев так называемой «эпичности выражений»: мы согласны называть эпическими выражения вроде «мать сыра земля», «белый свет» и т. д.; существительное сопровождается здесь постоянно одним и тем же эпитетом не потому, чтоб он был необходим для полноты смысла, и не потому, чтоб нельзя было очень часто заменить его совершенно другим, более идущим к сущности картины; но мы не видим никакой эпичности в выражениях, перечисляемых г. Буслаевым, наприм., на стр. 13: «Андрей еха наперед переже всих сломи копье свое»; «да не ущитятся щиты своими»; «полезти, сести на коне» и т. д.: иные из этих выражений попадают так редко, что нельзя считать их слишком употребительными; другие таковы, что их нельзя заменить иным оборотом речи, и являются не по особенной любви к ним, а просто потому, что всего естественнее употреблять их. Нам кажется, что г. Буслаев принимает иногда просто метафорические выражения за эпические и таким образом придает эпичности столь обширный объем, что она теряет особенное свое значение для филологии. Но мы удерживаемся от этой трактации из опасения сделать свою статью слишком длин-

ною. Науке молодой, какова у нас историческая филология, трудно удерживаться от увлечений; но она должна опасаться их еще более, нежели науки, установившие свою репутацию: на нее многие смотрят недоверчиво, уже и потому, что не успели еще привыкнуть к ней; как же много может она повредить себе, если, с одной стороны, будет высказывать неумеренные притязания на превосходство над всеми другими науками, а с другой — не будет остерегаться положений слишком смелых и шатких.

С какою недоверчивостью, например, очень многие смотрят на исследования г. Афанасьева; а между тем, среди многих утрированных истолкований в мифологическом смысле и таких поверий, которые не заключают в себе ничего мифологического, у него часто встречаются объяснения, с которыми нельзя не согласиться. Таких сближений много и в статье г. Афанасьева, о которой мы говорим здесь — «Мифологическая связь понятий: света, зрения» и проч. Но желание открывать во всем следы древней мифологии вредит успеху его исследований.

«Пирьы и братчины», статья г. Попова, имеет очень большой интерес для исследователя русской старинной жизни. Не пускаясь в темную глубь веков, где находки бывают драгоценны, может быть, не столько по своей внутренней важности для истинной цели истории — служить истолковательницею настоящего, сколько по своей редкости, г. Попов ограничивается более близкими к нам веками и объясняет юридическое значение «братчин» на основании официальных документов, ясно определяющих их права и обязанности. Быть может, найдутся ценители, для которых объяснения г. Попова покажутся неблестящими в сравнении с смелыми соображениями г. Буслаева и других филологов; но разыскания о периоде Московского царства и непосредственно предшествующих ему временам приводят к результатам гораздо более достоверным, плодотворным и даже, по нашему мнению, более важным для нашей истории, нежели разыскания о временах доисторических. С одной стороны, история Московского государства стоит в непосредственной связи с историей Русской империи, созданной из него Петром Великим, и потому знать ее необходимо для понимания новейшей нашей истории; а в чем живая органическая связь между дохристианским бытом и нынешними нравами и учреждениями? Она ограничивается, как мы сказали, лишенными теперь серьезного значения суевериями и церемониями. С другой стороны, времена до-рюриковские не представляют нам в русских славянах почти ни одной своеобразной черты; а Московское государство — явление чрезвычайно оригинальное; в разысканиях о десятках других племен уже написано почти то же самое, что мы пишем о до-рюриковских славянах — а история Руси X — XIV и особенно XV—XVII веков не повторение того, что было повсюду и у всех, ее должны написать мы, она принадлежит исключительно нам.

Из других статей «Архива» заметим «Дополнения и прибавления к собранию русских народных пословиц и притчей», сообщенные г. Снегиревым; «О нравах татар, литовцев и москвитян» Михалона Литвина, перевод г. Шестакова — это сочинение очень важно; экземпляры его чрезвычайно редки, и потому г. Калачов справедливо почел за нужное вместе с переводом издать и самый текст; «Извлечения из книги Златоуст» г. Забелина, доказывающие, что в знаменитом «Домострое» очень многое заимствовано из этого сборника; «Указатель книг по русской истории, географии и русскому праву за 1849 год», прекрасный труд г. Капустина и столь же прекрасный «Указатель» статей того же содержания, помещенных в «Отечественных Записках», издававшихся г. Свинымым в 1818—1830 годах, составленный г. Афанасьевым. Оба «Указателя» дают своим ученым и трудолюбивым составителям полное право на благодарность всех занимающихся русскою историею. Кроме всего этого, в «Архиве» перепечатано «Описание свадебных обрядов у Малороссиян во второй половине XVIII столетия, сочиненное Григорьем Калиновским, армейских пехотных полков прапорщиком» и посвященное «милостивой государыне» его «матушке Харитине Григорьевне Калиновской, урожденной Рубановой, в Кролевце» — это интересное издание 1777 года теперь стало библиографической редкостью; наконец, в «Архиве» помещено несколько мелких статей, в том числе «Два акта XVII века о волшебстве», новые свидетельства «о роде и роженицах» г. Забелина и об «изгоях» гг. Буслаева и Микуцкого, и проч.

Пожелаем счастливого продолжения прекрасному изданию г. Калачова, в котором до сих пор не было ни одной статьи, не имеющей своего значения для науки, и уже помещено столько капитальных статей и важных материалов.

⟨ИЗ № 6 „СОВРЕМЕННОКА“⟩

**Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Антона Погорельского. Издание А. Смирдина. Два тома. Спб. 1853<sup>1</sup>.**

Вся современная критическая литература исполнена сожалений о том, что «критика ныне слаба», что «критики ныне решительно нет». В самом деле, упадок критики — факт несомненный и очень прискорбный; но сознать недостаток — значит наполовину уже восполнить его. И, без всякого сомнения, люди, так сильно поражающиеся несостоятельностью современной критики, пишут свои статьи с целью дать нам истинную критику. А, между тем, критики все нет и нет и по напечатании, как до напечатания статей, тоскующих о пропаже критики, старающихся отыскать и возвратить русской литературе погибшую критику.